

УДК 17
ББК 87.3 (4/8)
О58

Онфре М.

О58 Космос: Материалистическая онтология /
Пер. с фр. В. В. Боченкова. — М.: Кучково поле, 2017. — 464 с.

ISBN 978-5-9950-0726-5

Мишель Онфре (род. 1959) — один из самых популярных современных французских интеллектуалов. Утверждая принципы внепартийности и арелигиозности философии, склонный к эпатажу писатель, стоящий на анархических и либертарианских позициях, гордо называет себя популистом, усилиями которого философия во Франции и других странах становится частью массовой культуры.

В первом томе «Космос» трехтомника «Краткая энциклопедия мира» Онфре, осмысляя идеи античных, средневековых и современных мыслителей, а также обобщая свой практический опыт познания мира, представляет свою картину мира — «Материалистическую онтологию», не имеющую, по его словам, ничего общего с уже имеющимися философскими течениями. Вместо рациональной и трансцендентальной философии Онфре предлагает практичную идею гедонизма — радости и удовольствия от жизни, познания, культуры, окружающего мира.

«Космос» — первый том трилогии, которую я назвал «Краткая энциклопедия мира». В нем изложена философия природы. Второй будет называться «Декаданс», в нем я представлю философское видение истории. Третий, «Мудрость», — это практическая философия.

УДК 17
ББК 87.3 (4/8)

ISBN 978-5-9950-0726-5

© Michel Onfray and Flammarion, Paris, 2015
© ООО «Кучково поле», издание на русском языке, 2016

Выйти за пределы «меня» и «тебя»! Ощущать космически!
*Фридрих Ницше. Черновики и наброски, весна — осень 1881 года.*¹

¹ Перевод эпиграфа приводится по следующему изданию: *Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 2013. т. 9. С. 415. / Пер. с немецкого А. А. Карельского и др. Здесь и далее примечания переводчика.*

Смерть

Космос объединит нас

● **Отец** умер у меня на руках спустя 20 минут после того, как наступила ночь адвента¹; он продолжал стоять, будто пораженный молнией дуб, который, приняв эту участь, отказывается падать. Его, вырванного с корнем из той земли, которую он внезапно покинул, я взял на руки и понес, как бежавший из Трои Эней. Затем я усадил его около стены, а когда стало ясно, что он не вернется, положил на земле, словно бы желая упокоить в небытии, куда, не заметив того, он ушел. ● **Я** потерял отца в несколько секунд. То, чего я всегда боялся, при мне и произошло. Я никогда не ездил читать лекции в Австралию или в Индию, в Японию или Соединенные Штаты, в Южную Америку или Черную Африку, не подумав, что он может умереть в мое отсутствие. Я с ужасом представлял себе, как долго потребуются лететь назад самолетом, узнав о его смерти. Словом, он умер у меня на глазах, у меня на руках, и мы были одни. Воспользовался моим присутствием, чтобы покинуть этот мир, завещав его мне. ● **Он** долгое время оставался постаревшим мальчишкой, до 38 лет. Когда мне было 10, ему — 48, и 58, когда мне — 20, иначе говоря, в глазах детей и подростков моего возраста это был старенький господин, ушедший на пенсию, и ровесники принимали его порой за моего деда. Согласиться с этим сторонним взглядом, — мол, это действительно мой дедушка, а не отец, — значило бы пойти на предательство, а не согласиться — стать *сыном старика*, как выражаются дети, выросшие, будто пираньи в воде, в условиях, где жестокость нормальна. Если у тебя пожилой отец, это с ранних лет обязывает столкнуться и давать отпор грубости сверстников. А позже ты понимаешь, что это-то как раз и было удачей, подарком. Ты открываешь вдруг, что твой отец был мудрым, сдержанным, спокойным, откровенным, без юношеской претенциозности, и достаточно пожившим, чтобы не попасться в ловушку с зеркалами для жаворонка, каких нынешними птицеловами расставлено теперь в обществе немало. ● **Я** ощутил себя сыном своего отца, когда осознал, что он жил, не стремясь соответствовать модам, коими увлечены были отцы современные — одетые в ту же одежду, что их дети (шорты или кеды, пестрые рубашки или спортивная форма),

¹ В католичестве и протестантизме — четыре недели, четыре воскресенья, предшествующие Рождеству Христову.

говорящие так же развязно, как и они, отцы-приятели, сообщники, шутники, отцы-друзбаны, бесхарактерные, отцы-дети или подростки, недоотцы... Удача моя заключалась в том, что мой отец был из тех мужчин, которые всегда остаются отцами, не превращаясь в детей для собственных детей. ● **У** отца имелась одежда для работы и для выходных. Мода здесь была ни при чем: рабочая спецовка, глянec и запах записной книжки фирмы «Молескин», с размытыми от времени записями, фуражка, брюки, куртка под цвет его глаз. Воскресный набор тоже простой и скромный: брюки, куртка, туфли, пуловер с V-образным вырезом, галстук. Для работы он носил в кармашке часы, всю неделю; по воскресеньям часы с браслетом. По будням приносил с собой запахи фермы, приятный аромат урожая, реже — разбросанных удобрений. В воскресенье — простенький одеколон, которым sprыскивал лицо после бритья перед кухонной раковиной, — ванной у нас не было. ● **Сам** того не ведая, он учил меня. Нет — не показными уроками, но собственным примером, что время, в котором он жил, — это время Вергилия, время труда и время отдыха. Не чувствовавший моды, современных веяний, времени спешащего, летящего, мельтешащего, эпохи скоростей и нетерпения, когда все делается наскоро и кое-как, отец жил, как современник «Буколик», когда работали в полях, возились с пчелами и замечали, как сменяют друг друга времена года, когда наступает «время сажать и время вырывать посаженное», «время рождаться и время умирать», время детей, живущих настоящим, и время исчезнувших предков. ● **Ничто** не могло бы заставить его отступить от этого отношения ко времени, где прежние поколения занимали место преобладающее и значили больше, чем даже некоторые живущие сейчас. У него не было благоговейного отношения к собственным родителям, наподобие фетишистского культа, слез он ни по ком не лил, но, говоря о своем отце, мог обронить: «Папаша Онфре», и чувствовалось, как слово его обретает ту властность былых времен, становится тяжелым и твердым, мощным, что оно — современник той эпохи, когда слова действительно имели смысл, — те слова, которыми клялись, которые обретали силу закона. Отец говорил мало, и, когда я был ребенком, научил меня, что значит говорить. ● **У** него было прямое отношение к жизни, языческое и христианское одновременно. Христианское потому, что он вырос в католической вере, ходил на мессу в церковь, где венчались его родители, где он был крещен, где венчался сам, где отпевали его отца, а затем мать, где были крещены мой брат и я, где мы, как он сам и его брат, приняли причастие, где он похоронил и брата, где присутствовал при венчании и погребении друзей, родственников, соседей, где сам он тоже был отпет и где, увы, не будет совершено

мое погребение, потому что экуменизм имеет свои пределы. Когда я изучал Закон Божий и нам нужно было (уступка эпохе) нарисовать цветными карандашами сцены из священной истории, именно он рассказал мне о трех волхвах и звезде, которая шла перед ними, о Рождестве и яслях, где были вол и осел, о бегстве в Египет, избииении младенцев, чудесной ловле рыбы в Тивериадском озере, об апостолах и предательстве Иуды, о Тайной вечере и петухе, который должен был пропеть три раза, о римлянце, пронзившем Христа в бок копьем, и т. д. ● **Но** по воскресеньям он не ходил на мессу, не исповедовался (да ему и не надо было признаваться в каких-то грехах), я никогда не видел, чтобы он причащался. Я смутно и отдаленно помню одну всенощную службу, но небольшую, непродолжительную. И наоборот, он ни разу не пропустил ни одного Вербного воскресенья. Мне нравится, что это богослужение, корнями уходящее в язычество, было ему близко. Известно, что Иисуса, возвратившегося в Иерусалим, горячо приветствовала, незадолго до крестных Его страданий, огромная толпа, встречая с пальмовыми ветвями, которые и стали символом победы Христа над смертью. Когда Святое семейство было вынуждено бежать в Египет, младенец Иисус питался финиками, которые они собирали. Пальмовая ветвь как символ встречи желанного гостя восходит к языческой церемонии празднования первой растительности, благословения будущего урожая. В христианском Вербном воскресенье возрождается языческий праздник — обетование процветания. Отец возвращался с букетиком освященных веточек самшита. Здесь, вдали от Средиземноморья, самшит заменил пальмовые листья; так как он и зимой остается зеленым, то символизирует бессмертие. Отец брал одну или две веточки и ставил их между деревянным распятием и рисунком, изображавшим Христа. Другая веточка крепилась в кабине «ситроена» рядом с медальоном святого Христофора. ● **Отец** не был ханжой, никогда не проявлял религиозной восторженности, показной веры, не молился. Что он любил в католицизме, как по меньшей мере мне кажется, так это сам культ «Царя и Его кормилицы», коли уж цитировать Декарта, хотя у самого отца не было ни царя, ни кормилицы. Христианская религия была для него тем, что связует людей, и отец ничего и никогда не делал в жизни такого, что могло бы их разъединять. Вера была обетованием мира, прощения, благополучия, любви к ближнему, отпущения грехов, блага, нежности, милосердия, всех добродетелей, которыми и он обладал, не ведая о пороках. ● **Отец** был из тех христиан, которые подражают Иисусу, стоящему на стороне униженных и оскорбленных, но не апостолу Павлу — человеку меча и Ватикана. А мать, наоборот, благоговела перед папским саном и изготовила рамку для портрета Иоанна XXIII, который

стоял на самом видном месте в доме. Отца это нисколько не заботило. Он соблюдал евангельские добродетели, а к Церкви был равнодушен. В последние годы жизни он не ходил на мессу по Вербным воскресеньям и не клал самшитовых веточек на могилы близких — возможно, его материальная душа чувствовала, что исчезнет навсегда. ● **Его** язычество было очевидным в отношении к природе, которая в то же время была для него чем-то вроде сейсмографа. Он знал множество поговорок, сложенных за тысячелетие народной мудростью и опытом. Ему ничто не было чуждым из того, что составляет алфавит природы: цвет луны, ясность окружающего ее ореола, запах озона перед грозой, время между вспышкой молнии и ударом грома, высота полета ласточек, предвещающих грозу, их скопища на электропроводах перед отлетом, появление первых цветов, приход весны, лунный цикл, разница между восходящим и убывающим месяцем, луна, которая встает и садится, предзнаменования облаков, лежащий на откосе снег, к которому должен добавиться новый, расположение мха на деревьях, час, когда поют петухи и восходят звезды. ● **Вспоминаю** об одном вечере, когда он вывел меня на порог, чтобы рассказать о небе: Большая Медведица, Малая, большая тележка, маленькая, а вот здесь — кастрюля, там — лиса, которая проглатывает гуся, вот летающая рыба, а вот голубь. А затем он научил меня, что такое время и пространство, вечность и бесконечность, объясняя, что некоторые очень далекие звезды отправили нам лучи света миллиарды лет назад, и только сейчас они до нас дошли, и что теперь, быть может, звезды эти уж миллионы лет как погасли, но мы их видим. ● **Открыть** неизмеримость времени и малый срок нашей жизни — значит постичь возвышенное, обнаружить его, приблизиться к нему, обрести в нем свое место. Проще говоря, отец преподал мне первоклассное духовное упражнение, помогающее отыскать свое собственное место в космосе, в мире, в природе и, следовательно, среди людей. «Вознестись на небо», как возвещает катехизис, можно было и по-язычески, имманентно и, выражаясь одним словом, которое бьет в самую точку, — философски. Звездное небо преподает урок мудрости тому, кто умеет на него смотреть: потеряться в нем — значит обрести себя. ● **В** этом уроке мудрости важную роль играла Полярная звезда. Отец, никогда не дававший мне уроков морали, кроме одного — самому жить, не нарушая морали, сказал, что эта звезда первой поднимается и последней заходит, что она безошибочно, при любых обстоятельствах, указывает на Север, и, если ты потерялся, достаточно смотреть на нее, ибо она спасет, указывая направление, которого следует придерживаться. Это был урок астрономии, конечно, но также урок философии, более того — мудрости. Знать, что нам необходим экзистенциальный ориен-

тир, дабы жить именно той жизнью, которая достойна так называться, — вот что сформировало у ребенка, каким я был, стержень, на который нанизывается все человеческое бытие. ● **У** нас с ним и с Полярной звездой случилась одна история. В восемь или девять лет я помогал отцу в поле сажать картошку: он копал мотыгой ровные ямки, а я клал туда картофелины, — бывало, что и мимо. Согнувшись, но стоя на прямых ногах, он продвигался вперед, как хорошо отлаженная, смазанная машина, я худо-бедно волок по земле корзину. Он молчал, а я все время говорил, и он иногда осторожно упрекал меня. Над нами пели жаворонки, порой они стремительно падали вниз, будто надорвавшись. ● **Какой-то** самолет оставил в синеве след; я спросил у отца, куда бы он отправился, если б у него был бесплатный билет. Вопрос странный, особенно в ту пору, когда в доме не хватало денег на самые элементарные вещи и когда я, сын сельского рабочего и домохозяйки, вряд ли имел, в силу социального положения, возможность воплотить это желание в жизнь — разве только поделиться им с отцом, который никогда не показывал, что чего-то хочет. У него ничего не было, но он владел всем. Зачем же чего-то еще желать? Подарки к праздникам разбивались об эту аскезу. Книга? Отец не читал. Пластинка? Музыки он не слушал. Шарф? Он их не носил. Галстук? Один у него уже был. Бутылка вина или шампанского? Он не пил. Сигары? Он делал себе самокрутки, единственная фривольность — «Житан» из кукурузной бумаги в воскресенье и сигарилла по праздникам. На рестораны, кино, театр денег не было, никаких отпусков, а если он их брал, то для того, чтобы пойти работать на другую ферму. ● **Отец** не пропустил вопрос мимо ушей, даже ответил: «На Северный полюс». Как я отреагировал, не помню. Возможно, удивился и спросил: «Почему?» На что он ничего не сказал, иначе бы я запомнил. Позже, спустя годы, в 1981-м, ему тогда только что исполнилось 60 и врач продиагностировал воспаление легких, затем посоветовал сделать двойное коронарное шунтирование, в больницы палате, когда я говорил с ним (мне тогда было 22, я и сейчас не освоил мудрое искусство молчать), напомнил про тот вопрос и спросил, не забыл ли он, что ответил, он повторил: «Да, конечно, на Северный полюс...» Разумеется, я переспросил: «Почему?» — и получил ответ такого рода: «Не знаю... Просто так...» ● **Двадцать** лет спустя, счастливым тем, что отцу исполнилось 80, я предложил ему совершить путешествие на Северный полюс. Приблизиться к нашей Полярной звезде. Он никогда не покидал деревни, не летал самолетами, не разлучался с матерью больше, чем на один день, а тут согласился. И мы поехали. Увидели полюс, белых медведей, айсберги, эскимосов, лунные пейзажи,

всевозможные оттенки воды, от бирюзового до ультрамаринового, серого и черного, от зеленого до фиолетового, отведали сырого тюленя, ощущая на языке свежую кровь, и отец тоже глотал сырую печень, резал пополам глаз, чтобы проглотить хрусталик, ел и копченого лосося, и сушеного, подвешенного снаружи жилища, жевал кожу касатки, мы то и дело улыбались возле костра беззубым эскимосам, видели китовые фонтаны на поверхности воды, но самого кита не удалось, нас касались птицы, отправившиеся в долгий полет, кричали над головами. Эту историю я рассказал в небольшой книжке «Эстетика Северного полюса» (*Esthétique du pôle Nord*). ● **Отец** был разочарован первыми впечатлениями, не увидев того, что надеялся. Ледяные иглу уступили место деревянным домам с параболическими антеннами, каяки и гребцы — моторным лодкам, собачьи упряжки — машинам с полным приводом и трещащим квадроциклом; из-за всеобщего потепления в то лето растаял лед, обнажив землю и пыль, которая клубилась вслед за машинами, ездившими туда-сюда; мифических эскимосов заменили совсем другие — напичканные сладостями, толстые, беззубые, пьющие кока-колу, курящие, стреляющие травку у туристов, а это все — не моя суть. Я только захватил бутылку «Икэм», отметить день рождения. Шаманов, умевших общаться с умершими людьми, с духами животных, камней, больше не существовало, на смену им пришли евангелические христиане — поедатели просфор. ● **Север** потерял что-то свое. Я уж было пожалел, что затеял это путешествие, и, глядя с пригорка на далекий айсберг — в синем, почти черном море, вспомнил фразу Шопенгауэра: «Желание никогда не держит обещаний». В конце концов отец подкинул ответ на мое «почему?». В молодости, в своей комнатухе сельского работяги, которую он делил вместе с животными, и где зимой замерзала в тазу вода, он читал Поля-Эмиля Виктора¹. И я действительно думаю, что для отца, чье имя свидетельствовало о десяти веках присутствия скандинавов на нормандской земле, о викингах в генеалогическом древе, было экзотикой то, чем стала эта гиперборейская земля, начало начал, родословие родословий. ● **Но** если отец разочаровался, что не увидел, чего ожидал, то он увидел и то, чего предугадать не мог: однажды, когда непогода и медведь не давали нам выйти из домика, эскимос, наш гид Атата («папа» по-эскимосски) взялся рассказывать нам мифы своего народа. В рюкзаке из тюленьей кожи у него лежала веревка из жил, которой он перевязывал как попало кости животного, их он тоже вытащил следом за ней и, положив на стол, начал рассказ. Он перемешивал байки из соб-

ственной жизни и мифы своей деревушки. Говорил по-своему, а двое из моряков, работавших с ним, переводили на английский, а мы уж потом для себя — на французский. ● **Лицо** у Ататы было иссечено морщинами от холода и солнца, усталое, плоское, только горизонтальные щелочки глаз. Древний Атата, старейшина деревни, полушаман-полупастор, начальник двух моряков, он произнес несколько дрогнувших слов, остановился и всхлипнул, замолчал, и тишина длилась вечность. Прежде чем вытереть слезы, стукнул по столу пальцем. Личность грубая, будто из Септуагинты¹, моему отцу он казался старше его самого. И вот этот самый Атата, который с особенной почтительностью, воздаваемой старшим, вечером на острове, среди камней, когда мы собрались у костра, принес, вынырнув из ниоткуда, стул, чтобы отец мог сидеть, вверх теперь всех в настоящий столбняк. Переводчики с эскимосского на английский замолкли. Гробовое молчание охватило деревянную избушку, которую медведь снес бы одним ударом лапы. ● **Беззубый** эскимос объяснил, что ему вспомнилась жуткая история. Во время холодной войны, когда Соединенные Штаты и СССР готовились к ядерным бомбардировкам, Северный полюс был стратегической зоной. База на Гренландии позволяла американцам продвинуть свое оружие вперед. Нагруженный атомными бомбами, самолет совершил неверный маневр при посадке и ушел под лед со своим смертоносным грузом. ● **С** этого времени американцы приступили к депортации эскимосского населения — женщин и детей, стариков, все семьи вместе с жалкими орудиями охоты и рыбалки, каяками и собачьими упряжками погнали дальше на север. При этом не учитывалось, что выше к северу лед толще и его невозможно пробить, чтобы рыбачить и охотиться. Эскимосы вернулись на юг, иначе бы они быстро умерли там от голода, потому что тюлень им дает все: что поесть, чем обустроиться (кишечник тюленя используется как стекло, защищающее от ветра), во что одеться (из кожи и жил можно шить), на чем передвигаться (шкурой обделывают каяк). ● **Заметив**, что эскимосы двинулись в обратный путь, американцы вновь переселили их к северу. Как и прежде — целые семьи, женщин и детей, стариков, как и прежде — с убогими орудиями охоты и рыбалки, как и прежде — с каяками, собаками и упряжками. Но, чтобы помешать людям вернуться к югу, где можно охотиться и ловить рыбу, солдаты перестреляли и перекололи штыками собак. Об этой-то бойне, которая случилась полстолетия назад, и рыдал Атата. ● **Отец**, приехавший сюда, чтобы увидеть то, чего так и не увидел, узнал здесь то, на что никак не рассчитывал: ис-

¹ Французский полярный исследователь и писатель.

¹ Название первого перевода книг Ветхого Завета на греческий язык.

циклов очень долго, соскучишься. Приходим к Янкелевичу. Он посвятил этому сюжету пятьсот страниц, чтобы заключить в конечном счете, что ничего об этом сказать нельзя, может, сами когда-нибудь увидим, а может, и не увидим. ● **Философия** по этому поводу весьма бедна ответами, по-настоящему действенными. Одна риторика, софистика, красивые рассуждения, утешительные вымыслы с потусторонними силами и четками, но, когда траур, тело и разум друг друга не понимают! Безусловно, там и тут можно отыскать здравые мысли, но ни одна не позволит эффективно и сразу же вернуть тебя в стоячее положение, когда ты преклонил колено к земле. Кроме... ● **Кроме** одного принципа: смерть — наследство, и уходящий передает нам то, чем был он сам. Раз уж тебе повезло иметь отца или жену — святых светской святостью в их доброте, то остается воздать им единственную честь — жить их идеями, соответствовать всему тому, за что их любили, поддерживать в себе их волю к жизни, их щедрость бытия, подхватив это, как упавшее в сражении знамя, жить под их несуществующим наблюдением, сохраняя им верность, воплощая их добродетели, перенимая их искусство делиться теплом. ● **Сделать** катастрофу этой верностью — вот что предлагает «Космос» с подзаголовком «Материалистическая онтология». Это пентаграмма, составленная из пентаграмм, — пять частей, разделенных в свою очередь на пять глав. Первая часть, «Форма априори живущего», — мой вопрос о вергилиевском *времени*, в котором жил отец, времени мирном и безмятежном, к которому надлежит вернуться, чтобы обрести и полное спокойствие. Затем, во второй части («Сила силы»), — размышления о *жизни* как силе по ту сторону добра и зла, мы подчинены ей и в смерти, которая, в свою очередь, только ее вариация. В третьей части («Второе, непохожее “Я”») я рассматриваю следствия утверждений Дарвина о том, что между природой человека и животного нет различий, тут только разница ступени. Четвертая часть («Этика лоскутной Вселенной») — размышление о *космосе* как месте, которому изначально присуща, в родословии своем, в язычестве своем, мудрость, позволяющая соответствовать самому себе и другим. Наконец, в пятой части («Опыт необъятности») я предлагаю свой взгляд на возвышенное, оно — результат того напряжения, когда ты пытливо и внимательно вглядываешься в конкретный мир, развернувшийся перед тобой, и осознаешь ничтожность собственного возбужденного сознания, зная, что оно не бог весть что само по себе, но может многое. ●

ВРЕМЯ

Форма априори живущего

Время. Мне безразличен подход трансцендентальный, я всегда предпочитал ему эмпирический. Я могу предложить определение времени, но ради чего? В «Жидких формах времени» (глава 1) я предпочел отправиться на поиски утраченного времени, то есть шампанского, произведенного, например, в год рождения отца, в 1921-м, чтобы показать, что потерянного времени нет и не было. Мы думаем, что оно утрачено, однако его можно вернуть, но, занимаясь поисками, нужно знать, что рассудочным путем, с помощью концепций, мобилизующих чувственное понимание, эмоциональную память, прямолинейных умозаключений, вызывающих синестезию¹ и прочие сравнения, коими так дорожат поэты, оно не отыщется.

Бергсон, конечно, велик, но бергсонист Пруст велик еще больше, рассказывая об утраченном, затем обретенном времени в форме романа, разбирая его по косточкам с позиции философа институционалиста. Философия никогда не станет великим делом, если ею не занимается специалист в этой области. Башляр в «Интуиции мгновения» велик безусловно, но в моих глазах более велик тот, кто рассуждает о времени, исходя из поэтики амбара или феноменологии погребя, мерцания пламени свечи или запаха жареного воскресного цыпленка.

¹ Синестезия — психологический феномен восприятия, который состоит в том, что раздражение одного органа чувств вызывает ощущения в другом (например, видеть пальцами и т. п.).

В «Георгиках¹ души» (глава 2) я стараюсь обрести время, исходя не из заданных определений — включенных во все программы авторов, но вспоминая, как сам его открывал, о детстве, играх в лесу, шалашах из хвороста, одиноких прогулках по полям, по дорогам под сводами осенних гризайлей², о брызгах воды у постирочного мостика на речке, о молодых угорьках, пойманных руками.

Так мне передался интерес к хорошей работе. Он сочетался с резким вкусом лука-скороды и земляники, который преобразился в один прекрасный день в ароматизаторы (об этом опыте я рассказал в предисловии к «Разумности наслаждения» (*La raison gourmande*)), в опьяняющий запах поэтических гвоздик на исходе жаркого дня и земли, ждущей дождя, в запахах пустыни в Сахаре или после грозы, в запахах джунглей, услышанный однажды в Бразилии. Природа была для меня первой культурой, и понадобилось продолжительное время, чтобы выделить в культуре то плохое, что удаляет нас от природы, и то хорошее, что возвращает к ней.

Издано много книг, где расписано, как обустроить мировую экономику. Каждая из трех книг, лежащих в основе религий³, претендует на то, чтобы отменить остальные, остаться единственно верной. Эти три религии породили бесконечное количество томов комментариев и трудов, совершенно бесполезных для осмысления реальности. Сад — вот библиотека, но лишь немногие библиотеки стали садами. Наблюдения, как работает день ото дня садовник, научат нас куда большему, нежели чтение бесконечных философских книг. Книга значима лишь тогда, когда учит обходиться без себя, поднять голову, высунуть нос из очередного тома, дабы рассмотреть в деталях мир, ожидающий нашего участия.

Отец в своем саду подчинялся ритмам природы. Он знал изначальное время. Он жил без забот о времени настоящем — времени мгновений, оторванных от прошлого и будущего, времени мертвом, без памяти о прошлом и лишенном всякого будущего, нигилистическом времени, сотканном из лохмотьев вырванных из хаоса эпизодов, о времени, переделанном машинами, про-

изводящими виртуальный мир, который преподносится нам как единственная реальность, о надматериальном времени, которое заменяет собой все. Он жил без забот о времени городов, противостоящем времени деревень, о времени без жизни, соков, вкуса...

Забвение этого вергилиевского времени — причина и следствие нигилизма нашей эпохи. Не знать природных циклов, не ведать о смене времен года и жить лишь в бетоне и асфальте городов, стали и стекла, никогда не видев луга, поля, подлеска, перелеска, леса, виноградника, травяных зарослей, реки, — значит жить уже в цементном склепе, который однажды примет и тело твое, так и не познавшее мира. Отсюда вопрос: как таким образом обрести свое место в космосе, в природе, в жизни, ежели жизнь проходит посреди все загрязняющих моторов, электрического света, скрытых волн, систем видеонаблюдения, асфальтированных улиц и тротуаров, изгаженных испражнениями животных? С тем отношением к миру, когда он — объект в мире объектов, выйти из нигилизма невозможно.

Цыгане, народ устной культуры, природы, тишины, сменяющих друг друга времен года, обладают пониманием космоса. По крайней мере, те из них, кто до сих пор не поддавался пению сирен цивилизации, иначе говоря — оседлому образу жизни среди бетона. В главе 3 («Послезавтра завтра будет вчера») я стараюсь выпытать у этого народа, сохранившего склонность к молчанию, к жизни племенем, его секреты. Он рассказывает о ежах, о говорящих ежах. Он не познал еще проклятий христианства и не ведет первородного греха, не подчинился давлению того труда, цель которого — производство ради производства. Цыгане живут временем звезд, а не хронометров.

Их естественная жизнь кажется надругательством над искалеченной жизнью гаджо — не-цыган. Потому что цыгане остались верны своим устоям, которые, выдержав сопротивление христианизации, остались прежними. Они свидетельствуют о том, кем были мы до оседлости — людьми дороги, которые кочевали племенами, отправлялись в путь по весне и зимовали становьем. Цыгане воочию показывают нам, что мы тоже тысячи лет назад любили размышлять возле костра, а не тратили время в общественном транспорте, мы были с животными одним целым и ели их, чтобы жить, а теперь, поселившись от них подальше, организовали их индустриальную забой, чтобы питаться безвкусным мясом.

¹ Георгики — песни, посвященные труду на земле, а также название поэмы Вергилия.

² Вид живописи с преобладанием серых тонов.

³ Библия, Коран, Тора. Автор рассматривает только монотеистические религии, поэтому говорит о трех.

Цыганский табор (как и огород) — для меня то, на чем я всегда учусь мудрости. Преследование этого народа — преследование всего, что нам уже несвойственно, о чем мы, потерявши, плачем — свободы. Извечное их гонение, включая нацистские газовые камеры, говорит о том, что то, что представляется нам как цивилизация, скорей похоже на варварство, а то, что «цивилизованные» люди называют варварством, — чаще именно и есть та цивилизация, чей код мы утратили, точно так же как потеряли развалины Шумера или Аккада, Хеттского царства или Набатии.

В главе 4 («Складывание сил в формы») я выдвигаю гипотезу, что время не где-то вне, а в каждой клетке или атоме всего сущего. В клетке или атоме сгоревшей звезды, от которой все бра-ло свое начало и которая до сих пор несет свой свет, обсидиана и папоротника, махаона и гинкго¹, клеща и слепня, льва и барана, жирафа и боевого быка, в пшенице, обнаруженной в пирамидах, способной дать всходы спустя сорок веков, если для того созданы соответствующие условия, в пальмах, цветущих только раз в жизни за все свои 80 лет, но также, конечно, и людях, обладающих внутренним измерителем времени, на пружину которого космос давит неодинаково.

Наконец, в главе 5 («Конструирование контр-времени») я изучаю последствия отмены медленно движущегося времени, которое главенствовало с римской античности до изобретения двигателя в XIX веке: времени лошадиного шага. Появление машин, производящих виртуальное время (телефон, радио, телевидение, видео), убило это космическое время и произвело мертвое — наше нигилистическое время. Наша жизнь — миг, лишенный связи с прошлым и будущим. Чтобы не стать несуществующей мертвой точкой среди небытия, нужно воссоздать гедонистское контр-время, *создать себе свободу*, иначе говоря, вот ницшеанский урок не по Ницше, в нашей жизни и ради нашей жизни нам необходимо выбрать то, что повторялось бы беспрерывно, и повторения чего мы бы желали.

Человеческая душа материальна, она несет в себе память о времени, которое разворачивается по ту сторону добра и зла. Время пережитое не является, естественно, ощутимым, оно культурно раз-меренно. Наше тело в нем живет, само того не зная; цивилизация измеряет его, чтобы упрятать в клетку, обуздать, приручить.

Цивилизация есть искусство переделывать время, физически описываемое, свидетельствующее о неизменности в нас космического ритма, который надлежит нам распознать, во время измеримое, приносящее доход. Время — сила априори звездная, присущая апостериори всему, что обрело форму. Оно — скорость материи. Эта скорость допускает множество вариаций. Эти вариации определяют живущее, жизнь.

1

Жидкие формы времени

Я мог бы говорить о времени как о «скорости материи». К этой реальности я добавил бы еще умозрительное, то есть теоретическое определение, которое ставит мысль перед трудностями по причине своей неопределенности, изменчивости, способности ускользать, мимолетности, эфемерности, непрочности. Подобный шаг повлек бы многочисленные попытки определить неопределяемое. Потому-то гераклитовская «река, в которую нельзя войти дважды», платоновская «изменчивая форма неизменяемой вечности», стоический «промежуток, сопровождающий движение мира», аристотелевское «количество движения до и после», платиновское «Единое, из которого все происходит», эпикурейский «случай случаев», берклиевская «система текучих идей», кантовские «априорные формы чувственности», кьеркегоровская «бесконечная последовательность сменяющих друг друга моментов», бергсоновский «призрак пространства, неотступно преследующий рассудочное сознание», сартровские «размеры ничтожности» — говорят о предмете, не в силах исчерпывающе его обозначить.

Как только философ начинает говорить о времени, он вынужден либо добавить определение к истории идей, либо приступить к рассуждениям о времени без бытия, о времени, о котором известно только, что оно существует, пока о нем не говорят, но о котором нельзя ничего высказать сверх задаваемого вопроса, о времени, сведенном к моменту настоящему, ибо прошлое и будущее существуют лишь в качестве представлений, о небытии времени, раскрытом временем пережитым, о невозможности теории времени,

¹ Название реликтового дерева.

потому что она должна вписаться в рамки временной условности, о наименьшей ясности времени, потускневшей форме вечности, а значит, о святости. Блеске змеи, исчезающей в траве.

Я перечитал, что думали и написали разные мыслители о времени. Формулировки зачастую прекрасны, выводы верны, порой за лирическими взлетами скрываются здравые рассуждения о прошлом, которого уже нет, и о будущем, которого еще нет, иначе говоря: чего больше нет, и то, чего нет еще, — не существует, а есть только тот самый миг, в котором непосредственно сосредоточена эта странная алхимия, поскольку он — не точка, но длительность, странное творение, чья голова находится впереди времени, а хвост позади. Настоящее, конечно, тоже подчиняется закону времени, и представляется оно только мимолетным мгновением, в котором разыгрывается это превращение будущего в прошлое, ибо всякое прошлое оказывается некогда бывшим будущим. Для этого ему нужно пройти дробилку настоящего, незримый преобразователь сущего в ничто.

Мне хочется отправиться на поиски времени, опираясь не на концептуальный, ноуменальный способ, но на номиналистский метод. Мне желательно *некое* утраченное время, а не *именно это* утраченное. Я не видел еще, как умирает жена, иначе не захотел бы, возможно, обрести время, которое было бы нашим общим, здесь или там, в пространствах былого, прожитого вместе и порознь, в размежеванных местах, во временах, увековеченных в мраморе двойной памяти, которая слилась в одну. Допотопные времена юности, времена устройства совместной жизни, долгие времена ежедневной нежности, затем — тягот, продолжительной болезни, страданий, агонии, смерти, траура. Время этого времени, быть может, придет однажды, пока что рано.

Я избрал время рождения отца, 1921 год. Он ознаменован в философии выходом книги Алена «Марс или суждения о войне» (*Mars ou la guerre jugée*), но также «Логико-философским трактатом» Витгенштейна, фортепианным квинтетом № 2 Габриэля Форе, «Шестью песнями» Антона Веберна¹, картиной Феликса Валлоттона «Обнаженная, спящая на берегу», «Почему не чихает Рроза² Селяви», реди-мейдом («метод готовых вещей») Марселя Дюшана, смертью Сен-Санса, дадаистским салоном в Па-

риже, выходом в свет «Содома и Гоморры» Марселя Пруста, последними страницами «Улисса» Джойса, это также год разгрома Лениным кронштадтского восстания, убийства девяти сотен матросов, требовавших соблюдения революционных идеалов, это приход Гитлера к власти во главе нацистской партии; это торжествующий большевизм и в то же время — новая экономическая политика и помощь Соединенных Штатов ленинской обескровленной России, это смертный приговор Сакко и Ванцетти, но также — защита этих двух анархистов другим, пока неизвестным Бенито Муссолини, это публикация книги «Психологии масс и анализ человеческого Я» Фрейда, его же «Сна и телепатии», — это, иначе говоря, конец одного мира и пришествие другого. Война 1914–1918 годов порождает время, которое упраздняет прежнее: в 1921-м нигилизм разливается, как чернила на чистую страницу иудео-христианской цивилизации.

Я хочу обрести то время, которого не знал никогда, 1921 год, хотя бы потребовалось стать ребенком, во всех смыслах этого слова. Дата рождения отца предполагает и его собственное зачатие его отцом, кузнецом, служившим до того в 13-м кирасирском полку, влившемся во время Первой мировой войны в 104-й пехотный полк. Демобилизован он был после отравления газом в ходе боев на Востоке, награжден воинской медалью за сражение в Италии в мае 1916-го, «вернулся в строй французской армии 29 июля 1918-го», освобожден от службы 14 марта 1919-го, говорят воинские документы; он зачал того ребенка, моего отца, познав эту войну — породительницу нигилизма нашей эпохи, который продолжает жить ее отзвуком. Я часто говорил себе, что взрыв обыкновенного шального снаряда, никчемная пуля, летящая в деда, имели бы для него свой смысл, следовательно, по-своему также и для отца, и распространялись бы на меня. Десятками миллиардов снарядов и пуль, прочертивших черное небо той эпохи, одни жизни были уничтожены, другие помилованы, и потомки уже не ведают о той случайности, которая неистово и вслепую определяла, кому быть, кому не быть.

Почти столетие спустя я оказался на востоке Франции недалеко от этих земель, напившихся солдатской крови, наевшихся человеческого мяса, наслушавшихся предсмертных хрипов солдат. Своему появлению на свет я обязан странной случайности, сопряженной вот с этой другой: в бою, что предшествовал моему рожде-

¹ На стихи Георга Тракля. В 1921-м были завершены, начаты в 1917-м.

² Здесь нет опечатки, с двумя «р» верно. Упомянута одна из работ Марселя Дюшана.

Сила силы

Жизнь. Я согласен со всем, что включает в себя понятие о воле к власти, которым оперирует Ницше. Но в случае с Ницше имеет место огромное недоразумение: он не был прочитан надлежащим образом, и этот онтологический концепт, объясняющий все сущее, остался не понят. Он был использован европейскими фашистами, в частности нацистами, в политических целях, для оправдания своих гнусных замыслов. Воля к власти охватывает все, что есть, это порядок, который невозможно изменить, его можно разве только знать, познавать, любить, желать его прицнить, и он, этот порядок, сам устремлен к нам, к нему нельзя иметь априорное воление. То, что простирает над нами свою волю, фашизм отвергал, это была затея, целиком и полностью противоположная Ницше. Сверхчеловек знает, что переделать действительность нельзя, фашизм предполагал изменить действительность и ее порядок. Ницшеанская онтология радикальным образом антифашистская.

В главе 1 («Ботаника воли к власти») я рассматриваю, что означает эта основная мысль немецкого философа, помогает мне Sipo Matador — лиана-убийца, тропическое растение, способное нам объяснить, что такое жизнь и живое. Sipo Matador — растение, ползущее по деревьям в верхние этажи леса, к солнечному свету, все это вне оценок «добра и зла». Современная ботаника учит, что переход от неживого к живому осуществился благодаря хлорофиллу, содержащемуся в растениях. Если мы исходим от обезьяны (согласно непринятой формулировке, так

как мы скорее результат эволюции обезьяны), то наверняка — и от растений, без которых нас бы не было. В нас — растение, в растении — мы. От Ламетри, который продемонстрировал это еще в XVIII веке, к современной нейробиологии растений, включая ботаников, объясняющих нам, как растения общаются между собой (с помощью газа), например, чтобы защищаться от хищников, и как они живут (светолюбивые). Живое не начинается там, где его таковым определяют, где начинается его антропоморфное отображение.

В то время как светолюбивым растениям необходимо солнце, угри боятся дневного света, им посвящается «Философия угря-люцифуга» (глава 2). Однажды, уже повидав лиану-убийцу, сам того не ожидая, далеко от дома, у постирочного мостика в своей родной деревне я заметил угрей. Отец, научивший меня понимать время звезд, указал и космос угрей, говоря, что из этого самого местечка, где некогда прачки полоскали простыни богачам, угри в условленный час отправляются в далекое путешествие, за тысячи километров, в Саргассово море, чтобы размножаться.

Я также знал, что ласточки тоже улетали из моей деревни куда-то далеко, «в теплые страны», где есть солнце, в поисках пищи и зимовки. Некоторые бабочки, легкие, как эфир, используют восходящие потоки воздуха и уносятся за экватор в поисках пищи, спасаясь от суровых нормандских зим, которые бы уничтожили их. Все перелеты и странствования животных связаны с продолжением рода и смертью. Я представлял себе судьбу всего, что живо: повиноваться необходимости, ведущей все живое, угрей и ласточек, стрижей и бабочек, которым весной и осенью я так радовался. И во мне самом — часть ласточки и угря, стрижа и бабочки. Потребовалось время, чтобы раскрыть эту тайну и, следом за Спинозой, узнать, что *мы считаем себя свободными, потому что сознаем свои желания и стремления, не ведая при этом их истинных причин.*

Деревьям нужен свет, угри его боятся. Я открывал разнообразие и даже антиномии в живом. То, что кажется добром и благом для одного, оборачивается злом для другого: лиана-убийца обвивает дерево, чтобы вскарабкаться к солнцу в самые вершины леса, угорь прячется под камнями и выходит преимущественно в безлунные ночи, когда бледный свет прикрыт облаками. Одни существа — лианы-убийцы, другие — угри. В каждом, в неиз-

вестных пропорциях, есть то и другое. Было бы полезно знать, размышляя над собой, свои световые дни и свои же мрачные ночи.

«Мир как воля и хищничество» (глава 3) — рассуждения о странном распределении ролей в природе, в силу чего существуют хищники и жертвы. Есть вроде бы вредные животные, все их существование сводится к тому, чтобы жить за чужой счет, паразитировать, использовать кого-то, управлять, лишая самостоятельного управления собой, независимости, свободы, контролируя, чтобы подчинить своей цели, когда хищник обретал бы выгоду, а жертва превращалась в вещь. Распределение ролей совершается и у нас самих, в каждом что-то есть от хищника и от жертвы, в неясных пропорциях. Но либо одно, либо другое в том или ином положении доминирует. Существуют хищники и жертвы от природы, каждый слепо подчиняется необходимости, которая делает их произвольно или тем, или другим.

Странные похождения круглого червя, попадающего в тело кузнечика, чтобы, овладев его нейронными командами, вести к собственной цели (утопить, так как червь нужна вода, чтобы он мог родиться, жить и размножаться) — не только аллегория или метаморфоза. В природе нет ничего ни хорошего, ни плохого, и Ницше прав, она «по ту сторону добра и зла», но это не мешает одним кого-то пожирать, другим быть съеденными. Мир — огромная площадка для этологической игры, где хищничество — закон.

Человек — хищник, который о себе мнит иначе и забывает, что он — именно хищник и самый свирепый, если не самый кровожадный. В неистовом стремлении разрушать, истреблять, грабить, убивать, громить, опустошать, ломать, совершать акты вандализма, в своем упрямом желании изобрести, чем бы разрушить планету, без которой он не сможет жить, человек доказывает: хищничество — его закон, его единственный закон. Я знал одного человека, в данном случае своего отца, который жил за пределами этого inferнального цикла и никогда не был хищником, из чего явствует, что в человечестве и самом человеке есть то, что противостоит античеловеческому началу.

Природа ни хороша, ни плоха. Она такова, какова есть. Для некоторых она скверна, от христианского первородного греха до побуждений фрейдистской смерти, включая садистскую страсть насилия. История философии не испытывает недостатка в природе как зле. Для других же она прекрасна: от уроков мудрости, которые

преподает она греческим киникам, до экологических идей Руссо с его благородным дикарем, включая рассказы путешественников, восхваляющих природную красоту полинезийских народов (Бугенвиль¹ и Дидро). Для тех и для других она одухотворена некой силой — для одних благотворной, для других пагубной.

Материалистическая онтология подобной гуманизации природы не признает. Антропоморфизация природы позволяет одним утверждать, что она мстит за обиды, которые ей нанесли: от извержения Этны до средневековых пандемий чумы или СПИДа в XX веке, не говоря о землетрясении в Лиссабоне, в это число входят некоторые сторонники *deep ecologie* (глубокой экологии) и даже Мишель Серр с его «Договором с природой» (*Contrat naturel*). Он высказывал пожелание, чтобы люди заключали с природой контракт, дабы ее спасти, и вопрошал: «Должен ли я его подписывать?» Сюда же можно отнести экологические бредни о том, что природа — живое существо: «Научиться мыслить, как гора» Альдо Леопольда, его «Альманах графства песка» (*A Sand County Almanac*), если не говорить уж о природе как «объекте права» того же Мишеля Серра — это все способно завести очень далеко.

В «Теории одухотворенного навоза» (глава 4) показано, как антрополог Рудольф Штейнер, хотя и сформировавшийся под влиянием немецкой философской школы (или потому что сформировавшийся), предлагает под видом рационального дискурса и размышлений о природе величайшие бредни: набивать коровьим навозом рога и закапывать их, чтобы получить навоз «одухотворенный», способный, как гомеопатическое лекарство, притягивать космические силы, дабы они, пройдя через рога коровы из местного стада, в нее вселились и выделялись как невидимый раствор, способный с успехом поднять плодородие на многих гектарах. Рецепты, которые сей мыслитель предлагает деревенским труженикам, превосходят человеческое понимание: сжигать мелких грызунов, сдирать шкурки и развеивать пепел, чтобы прочие их сородичи не портили бы земляные наделы, зашивать цветы в мочевого пузырь или кишки оленей, начинять череп собаки дубовой корой и т. д., и все это замешано у него на биодинамике. Биодинамическое вина,

¹ Луи Антуан де Бугенвиль — французский мореплаватель, руководитель первой французской кругосветной экспедиции.

изготовленные по такой методе, будут-де пользоваться вселенским успехом.

Нужно опасаться двух подводных камней. С одной стороны, отвращение от жизни и от живого, с другой — культ жизни и живого. Никаких монотеистических религий, на всякий лад прославляющих Создателя, забыв о его Создании, ни религий новейшего времени (new age), ни неоязыческого экологизма, ни неошаманистского мира духов. Материалистическая онтология свободна от подобных трансценденталистских умопостроений, которые укоренял больше Ральф Уолдо Эмерсон в своей «Высшей душе», чем Генри Давид Торо с его «Уолденом, или Жизнью в лесу». Антропософский пример с биодинамическим вином показывает, что нужно довольствоваться только тем, что открывает нам сама природа, а она щедра, и не искать ничего «заприродного», оно не существует.

Запад титится смотреть природе в лицо, кладет глаз на виталистскую культуру, существующую на земле. Начиная с 1492 года христианство повсеместно практикует этноцид. Взять цивилизации Северной, Центральной, Южной Америки, Индии, инков, ацтеков, ольмеков, майя, тольтеков, сапотеков и микстеков, арктических эскимосов, многочисленные цивилизации африканских народов, колонизированные, а затем уничтоженные военными отрядами и миссионерами из европейских стран — Франции, Бельгии, Германии, Англии. Разрушителем культур покоренных им стран, чьи народы придерживались сакральных отношений с природой, а не с гипотетическим создателем, выступает также ислам.

Прежде чем Запад уничтожил Африку, она была великой страной сакрального в природе и природы в сакральном, и вопрос об отупляющей трансцендентальности не возникал: души мертвых жили среди живых и vice versa — наоборот, все на одной земле. Глава 5 («Остановить виталистское головокружение») позволяет увидеть, как, под предлогом узнать Африку, африканское искусство, культуру, европейский эстетский и литературный авангард — художники и поэты, писатели и актеры, музыканты и хореографы — скорее пользовался ее народами, нежели стремился приносить пользу им.

Эти актеры от культуры с тем нигилизмом, что был свойственен их времени, затеяли упразднить старый ветхий мир западного искусства, считая его истощившимся, усталым, гибнущим, обескровленным. Африканское диониссийство служило в качестве

инструмента разрушения западных ценностей. Появление африканского *искусства* означало, что его мир приспособливают под наши ценности с музеями, выставочными залами с мертвой продукцией — лучшим подарком, который можно было предложить народу, воплощавшему Многообразие в самом прекрасном значении этого слова.

Ограничение их вселенной искусством позволяло прикоснуться к этому миру, богатому альтернативными и позитивными ценностями, девитализируя его, при этом забывали африканское мировидение, онтологию, мысль, религию, философию, метафизику, удовлетворяясь копированием форм, не заботясь об их действительной глубине. Дадаизм, сюрреализм, футуризм, кубизм, этнология и этнологическое кино парадоксальным образом способствовали опустошению африканской витальности в истасканных формах европейского авангарда, парижских модах и увлечениях «музейщиной», Запад любит прищипленных к пробковой коробке саркофага бабочек.

Африканское *искусство* стало товаром, испытывая на себе закон золотого тельца, западный закон. Несколько вещей, проданных на международном аукционе по запредельным ценам или выставленных по желанию президента Республики в музее как след в истории, в которой ничего не осталось, — вот как приходящая в упадок Европа поступила с витальностью цивилизации, которую непрерывно выхолащивала, лишала сил, а затем делала чучело и бальзамировала. Великая анимистская мощь Африки остается не прочтенной людьми, умеющими читать.

1

Ботаника воли к власти

В начале было не Слово, оно всегда поспевает к самому концу, когда уже погашены свечи, но Молния, которая, выражаясь словами Гераклита Мрачного, правит миром. Если быть точным, а точным быть надо, то началу всегда предшествует другое начало, ибо, прежде чем возникла молния, была некая энергия, сделавшая возможным ее появление, затем, до этой энергии, также была некая сила, благодаря которой эта энергия появилась, а эта сила нуждалась в свою очередь в другой, и так до беско-

нечности, до беспричинной причины, как называли ее античные философы, или первого недвижимого двигателя. Потому что, прежде чем погаснет звезда — источник всего, нечто порождает причину ее угасания, возникают условия, в силу которых эта причина появляется, затем условия этих условий и т. д.

Выражаясь четче или логичнее (что одно и то же), в начале был *Логос*, то есть такая причина, которая пока, при наших знаниях, ускользает от всякого известного, установленного, законченного осмысления, но все же пребывает причиной. Здесь нет никакого Бога, нет возвращения к метафизике, достаточно и обычной физики. Цепочки причин, запустивших определенные процессы, повлекшие в свою очередь за собой другие, и т. д.

Бог — то, что прерывает этот мизанабим (*mise en abyme*)¹, который тревожит и вселяет страх, ставит перед новыми тайнами. Бог — фикция, останавливает устремление ума, находка, перекрывающая бесконечный поток вопросов, чтобы у верующего был на все только один ответ — *Бог*. Это понятие ввергает в умственную лень, в философскую дремоту, оно расточает умение мыслить и подменяет мышление верой, которая всегда опирается на басни, выдумки, мифы, приукрашивающие реальность, унося все многообразие красок и запахов, вгоняет в тоску и страх перед небытием, замораживает и холодит душу, которую легко потерять и не найти.

У Бога разные имена. За всем этим многообразием скрывается одно и то же желание зараз распутать целый клубок загадок. Дуализм — взгляд на мир, позволяющий объяснить всю сложность земного, конкретного и имманентного, многообразия, — упрощенностью идеального, понятийного, небесного, трансцендентального единства. Потусторонний мир как единственное и уникальное объяснение посюстороннего мира, универсальный надмирный ключ, отмыкающий здешние замки, — вот легкий способ, дающий возможность, прикрываясь сложностью и словесной утонченностью, довольствоваться старым шаманским способом объяснения естественного сверхъестественным.

Если Ницше с юности сопровождает мой путь в философию, то потому, что он перевернул западную мысль, не оставив от дуалистической, идеалистической, концептуалистической, спиритуа-

¹ Здесь — цепочка причин. В художественном искусстве — принцип матрешки, техника, определяемая словами «сон во сне», «рассказ в рассказе», «картина в картине» и т. п.

листической традиции камня на камне, разгромив системные и словесные, риторические и воздушные замки, он дошел, разрушая христианскую религию до такого края, что хотел стереть с лица земли Ватикан, а на его месте варить холодец, уничтожив детские сказки — мифологические рассказы о потусторонних мирах, объясняющие мир посюсторонний. Ницше очищал, как ветер с моря он размел миазмы 25 столетий мифологической мысли.

Но это воинственное неистовство становится диалектическим. Ницше не ломал только ради удовольствия. Он не отрицатель, потому что идеями о вечном возвращении и воле к власти, философией сверхчеловека предлагает лекарство от нигилизма. Заратустра учит, что все, что было, уже было и будет бесконечное число раз в тех же точно формах; что сверхчеловеку ведомо это вечное возвращение, он стремится к нему и любит, отсюда — *amor fati*, благодарное принятие судьбы, потому что ее изменить ты не можешь; что все есть воля к власти, стремление к большей власти. Речь идет о первом постхристианском монизме — лекарстве от двухтысячелетней философии, покушающейся на жизнь и на живое.

Тем не менее всю его позитивность можно не принимать, когда заходит речь о вечном возвращении одного и того же, и это — мой случай. Сверхчеловек может быть любим как фигура сверхстоицизма, для которого было бы определяющим принятие всего, что ниспосылается, эта фаталистическая фигура может быть дополнена идеей о воле взамен воления, которая позволила бы, как и в античном стоицизме, различать, что от нас зависит, что не зависит, чтобы сверхчеловек стал мужчиной или женщиной, различал бы эти два регистра и всю энергию вкладывал в то, чтобы стремиться к независящему от нас — одним способом, а к зависящему — другим, и это тоже мой случай. Но мне нечего сказать или добавить к его теории воли к власти.

Я понял, чем была воля к власти у Ницше, наткнувшись однажды в каком-то томе его черновиков и набросков на необыкновенное выражение: *Sipò Matador*. Ничего больше. Никакой объясняющей пометки. Только два слова. Стал искать, в каком же сочинении, прижизненном или опубликованном посмертно, использовал его философ. И действительно, нашел второе упоминание: в параграфе 258 в «По ту сторону добра и зла» — одной из самых

насыщенных философским духом его книг, способной даже опьянить слабака.

Ницше утверждает, что волю к власти, а также то, как она действует, «можно сравнить с теми стремящимися к солнцу вьющимися растениями на Яве, — их называют *Sipo Matador*, — которые охватывают своими ветвями ствол дуба до тех пор, пока не поднимутся высоко над ним, опираясь на него, вволю распускают свою крону и выставляют напоказ свое счастье»¹. Как когда-то, подростком прочитав стихотворение Бодлера, загорелся я проплыть по южным морям, чтобы увидеть летящего альбатроса, так и на сей раз решил отправиться на Яву, посмотреть на ницшеанскую волю к власти.

Открыв старую папку, в которой собраны были мной заметки о *Sipo Matador*, я обнаружил письмо без адреса, отсылавшее к книге Эжена Лебазейя, вышедшей в 1884 году в издательстве «Ашетт э Си»:

«Все эти виды или же отдельные особи наносят друг другу вред, тесно нагромождаясь, перепутываясь, стесняя одна другую. Их внешняя умиротворенность обманчива; на деле же они ведут между собой постоянную, беспощадную борьбу за то, чтобы быстрее подняться ветвями, листьями, стеблем к вершине, к воздуху и свету, без всякой жалости к соседу. Бывает, что один хватает другого, точно когтями, чтобы использовать и, можно сказать, совершенно бесстыдно, только ради собственного преуспевания. Если эти дикие одиночки, живя сами по себе, чему-то учат, то во все не тому, что следует ценить другую жизнь, чему свидетель это дерево-паразит, обычное для тропических лесов, которое называют *Sipo Matador*, иначе — лиана-убийца. Она принадлежит к семейству фиговых. Поскольку ее стебель не в состоянии выдерживать весь остальной вес, *Sipo* ищет опору, используя деревья другого вида. Этим она не отличается от прочих вьющихся растений, однако сам способ, как она это делает, исключительно жесток, и наблюдать это без содрогания нельзя. Она устремляется на дерево, на котором хочет закрепиться, и плотно облегает всем стеблем, будто гипсом, ствол, служащий опорой. Затем вытягивает вправо и влево две ветви, скорее — сучья

или руки, которые быстро растут в длину, и при этом, можно сказать, ручьями течет сок, который, по мере застывания, становится твердым. Эти руки сжимают ствол жертвы с обоих краев и смыкаются.

Растут они от самой земли вверх с одинаковыми приблизительно промежутками, так что несчастное дерево оказывается скованным прочными цепями. Эти кольца растут вширь, умножаются по мере того как коварный душитель растет, и держат вверх крону, смешанную с листьями задушенного дерева, последнее, в свою очередь, чахнет и мало-помалу умирает, так как движение собственного сока в нем прекращается. Мы лицемерим самолюбивого паразита, еще сжимающего в своих объятиях бездыханный и трухлявый ствол, принесенный в жертву ради его собственного возрастания. Но заканчивается и жизнь лианы; она вся в цветах, плодоносит, воспроизводит, рассеивает свои семена. И умрет вместе с прогнившим деревом, которое убила, обрушится опора, и сама она упадет.

Sipo Matador может послужить эмблемой ожесточенной борьбы, которая происходит в таинственной чаще девственного леса беспрерывно. Нигде не проявляется столь поразительно борьба за жизнь с ее трагическими последствиями, как среди многочисленных растительных популяций, которые без всякой меры порождает плодородная земля. У некоторых деревьев даже нет возможности разместить в земле свои корни, которые вынуждены выбраться наружу, расти на поверхности, другие, как мы видели, прокладывают себе дорогу ввысь, к свету, чтобы распусть крону и дать созреть плодам. Итогом именно этой необходимости изыскивать способы и благоприятные условия для жизни явилась, как это точно заметил М. Бат, тенденция большинства тропических растений видоизменять свою природу, удлиняться или делаться гибче, приобретать тот или иной специфический вид или поведение — словом, сделаться ползучими. Вьющиеся растения этой страны не составляют естественного семейства. Способность, которую они обладают, происходит от привычки, которую они в каком-то смысле переняли; это приобретенное свойство, возникшее по причине обстоятельств и ставшее общим для видов, принадлежащих к самым разнообразным семействам, которые в основном ползучими не являются. Бобовые, крестоцветные, бигноновые, крапивные включают в себя самые разные виды. Есть даже вьющаяся пальма,

¹ Перевод Н. Полилова. См.: Ницше Ф. По ту сторону добра и зла // Полное собрание сочинений: В 13 т. М., 2012. Т. 5. С. 192.

называемая индейцами *Jacitara*. У нее тонкий, гибкий, перекрученный вокруг самого себя ствол, который, как проволока, обвивает большие деревья, тянется от одного к другому, достигая невероятной длины — многих сотен метров. Ее листья, вместо того чтобы собраться вместе венцом, как у других пальм, отделяются от ствола с большими интервалами и на конце имеют длинные изогнутые шипы. С помощью этих настоящих когтей карабкается она по стволам других деревьев».

Я продолжал поиски, но большинство людей, к которым обращался: ботаники, натуралисты, экологи — ничем помочь не могли. Все советовали порыться в Интернете. Один специалист, чье имя я умолчу, написал мне об этом растении три бессодержательных строки. Загадка становилась все более непроницаемой. Откуда, в частности, узнал Ницше об этом дереве? Почему возник этот образ в «По ту сторону добра и зла», для чего эта сжатая заметка в черновиках?

Она говорит о том, что он читал кого-то из натуралистов, путешественников XIX века, и не сопровождается никаким комментарием по поводу антропоморфизма в общем, тут скорее суждение моральное и даже морализаторское: лиана становится убийцей, то есть злом, так большая страна удушает маленькую и, благодаря жестокости, варварству, живет, развивается, благоденствует за счет других. Речь вовсе не идет о растении, питающемся живыми соками земли, или о насекомых, поедающих траву, разлагающуюся материю, о птицах, которые клюют насекомых, птицах-хищниках, нападающих на обычных пернатых, проявляя свое зло. Хищничество — закон живущего, Ницше стремится осмыслить то, что по ту сторону добра и зла, как физик — то, что в действительности есть, волю к власти, и не как моралист — то, чего нет, волю к уничтожению.

Мне казалось, что эти свидетельства повторяются и ничего не дополняют к тому, что уже о растении сказано: оно использует другое, истощая его, чтобы подняться к лесным вершинам и наслаждаться солнцем. Я искал также у Клода Леви-Стросса, писал ли он об этом амазонском дереве в своем обширном труде. Ожидал рассказа, анекдота, мифа, приключения. Мне нравились «Печальные тропики», которые, как и «Хроники индейцев гуаяки» (*Chroniques des Indiens Guayaki*) Пьера Кластра, дали мне время рассмотреть этот вопрос с точки зрения этнологии,

когда я изучал философию. Кажется, Клод Леви-Стросс ничего об этом не упоминал.

Однако, чтобы удостовериться, я написал 11 мая 2009 года из Аржанта ему письмо. Изложил свои хлопоты по решению этой короткой загадки о *Sipo Matador* в черновиках Ницше. Я писал: «Оказавшись в тупике, осмеливаюсь прибегнуть к Вам, к Вашим энциклопедическим познаниям, с просьбой сообщить мне какие-либо сведения об этом... ницшеанском растении». Он ответил мне чрезвычайно любезным письмом, датированным 11 мая 2009-го:

«Дорогой коллега!

Sipo Matador, “лиана-убийца” с португальского, принадлежит амазонскому фольклору, но об этом веровании я ничего не могу припомнить. Весьма сожалею, будучи слишком стар, что не могу быть вам полезен. Всего вам самого доброго.

Клод Леви-Стросс».

Дрожащий почерк пожилого господина меня заметно взволновал. Несколько этих слов говорили, что есть *амазонский фольклор*, а значит, о нем надлежит побольше узнать, пусть о природе он говорит мало, а больше о том, кто о ней говорит. Растение указывает на волю к власти аллегорически, но в то же время свидетельствует об образе восприятия природы — всегдашней жертвы моралина¹. Токсичная субстанция, выявленная все тем же Ницше, мешает нам видеть реальность такой, какова она есть, и интерпретировать ее, определять перспективы, выносить суждения. В памяти Клода Леви-Стросса затерялось то, что, быть может, знал он один, что раскрыло бы первоначальную мудрость этого образа. *Sipo Matador* хранит свою тайну.

Мы осознаем на сегодняшний день, что ботаника позволяет, не опираясь на мораль, понять реальность воли к власти, ее действие безотносительно добра и зла, онтологическую и физическую истинность, подтверждаемую опытом и знанием. Если мы должны отыскать момент, когда возникает жизнь, когда происходит переход от того, что ею не является, к тому, что является,

¹ Неологизм, принадлежащий Ф. Ницше, означающий ханжескую мораль. Образован по аналогии с химическими соединениями, оканчивающимися на «-ин».

Этика лоскутной Вселенной

Космос. Небо, которое показывал и раскрывал мне отец, не было христианским. Не помню, чтобы он говорил, что дедушка и бабушка, которых я никогда не знал, пребывают на небе, что туда ушел умерший сосед. Смерть никогда не была перевита выдумками, о ней не говорили, и этого было достаточно. Ушедших почитали, помнили, но я никогда не слышал христианских споров о рае, аде и чистилище, о всех этих прекрасных вещах для средней оценки по катехизису.

Отец не обладал культурой, позволившей бы ему насладиться подспудным язычеством христианства, но, думаю, ему пришлось бы по душе узреть в больших религиозных праздниках более древние празднества времен многобожия. В главе 1, «Постоянство непобежденного солнца», я иду по следам элементов иудео-христианского коллажа: это мировоззрение предстает разнородным, связует доисторического homo sapiens и его видоизменения на протяжении времен. Культ света (прекрасно объясняющий неолитическую наскальную живопись) проходит через восточные религии, вскормил анимизм, шаманизм, политеизм, пантеизм, где человек не отделяется от космоса и природы, ибо, до возникновения монотеизма, люди понимали: они — часть Великого Всего и от него неотделимы.

Всеми своими праздниками христианство вдохнуло новую жизнь в старый культ света, насчитывающий много миллионов лет. И даже знаменательные даты биографии, выдуманной за века людьми, дабы придать Иисусу, простому концептуальному пер-

сонажу, физическую и телесную реальность, все это даты языческих празднеств, указывающих на время солнцестояния или равноденствия, восход и закат солнца, исчезновение и появление заново света в то или иное время года. Христос кристаллизует своим именем культ света, лежащий в основе всех примитивных религий. Священная история может быть верно прочитана только с учетом языческой мысли, которую копирует.

Сама церковь — это солнечный храм, в который архитекторы и каменщики вложили свои античные представления о свете. Попытка показать это предпринята в главе 2 «Христианство, солнечный шаманизм». Возведение церковей подчинено солнцу. В обрядовом и символическом смысле они ориентированы на восход. В круглые оконца, когда совершается празднование святому и солнце достигает зенита, проходит свет. Лучи освещают место, где находятся мощи, вложенные в алтарь, в то время, которые укажут солнечные часы. Умерших хоронят на кладбище лицом на восход, чтобы они узрели свет, когда наступит всеобщее воскресение.

Христианство и помимо этого преисполнено солнечными символами: входные двери, ориентированные по оси восхода и захода; траморф, в котором четыре евангелиста соответствуют знакам зодиака; удлиненная, устремленная в небо колокольня, откуда повсюду разносится звон, когда совершается евхаристия; петух, сидящий на шпиле, извещающий о наступлении дня; измерение часов, дней, месяцев — в этой восточной религии, привитой на Западе силой красноречия, солнечно все.

Христианство выкинуло из неба все его светила и наполнило его выдумками. В «Конструировании христианского неба» (глава 3) рассматривается, как устранялись астрономические реалии в пользу теологических фантазий. Патристика требует обставить небо святыми, ангелами, архангелами, силами, престололами, серафимами и всякой прочей неосязаемой материей, представленными в виде экзистенциальных моделей. В христианской апологетике речь идет о бестелесной, о бесплотной жизни, о жизни без желаний, без нужды в еде и питье, без полового влечения, без всего того, что делает каждую жизнь телесной. Небо — это антиземля, и то, что его населяет — антиприрода.

Языческий космос учил экзистенциальной мудрости, позволившей людям жить в согласии с ним. Миропорядок регулировался таинственной силой, которую еще не называли Богом. Эта необхо-

димось возникала перед всяким, кто, наблюдая за движением мира, понял форму и силу природных циклов. Можно представить, что этой физической истине учили шаманы, мудрецы, друиды, жрецы, тогда как этимологически время не ведало никакой метафизики. Они передавали выдумки, изобретенные, чтобы заселить все то, что по ту сторону физики.

Христианский космос тоже учит экзистенциальной мудрости, но другой. Речь идет о подражании Иисусу, он же Христос, Сын Божий и отпрыск Девы, плоть без плоти, бестелесное тело, живой оксюморон, а также — распухший труп, анатомия умерщвления и, дабы все наконец увенчать, воскресший мертвец. Небо даровано всякому, кто скопировал эту жизнь, то есть Христову. Оно полно мучеников с изуродованными, разрезанными, обезглавленными, сожженными телами и т. д.

Пока теологи придают этому небу, заполненному фантазмами, законченный вид, ученые не могут отыскать там ничего, кроме светил и планет, размеренно движущихся по орбитам, сверкающих звезд. Развитие астрономии, научная воля освободили небо, будто ванну, откуда спустили грязную воду. Физика — это антиметафизика, она предполагает материалистическую онтологию. Церковь проклинает ученых, осмеливающихся утверждать, что небо есть то, что оно и есть — огромное пространство с болидами. Тюрьма, костер, преследования, суд обрушиваются на всех, кто открывает языческий космос вместо христианского.

«Нигилистическое забвение космоса» (глава 4), мне кажется, более значимо, чем забвение подлинного бытия в накопившихся к сегодняшнему дню книгах. Монотеизм прославил книгу, объясняющую мир, претендующую быть единственным и самым полным источником истины о нем, и устранил книги, объяснявшие мир иначе, дозволяя только то, что согласовывалось с его точкой зрения. Между человеком и космосом, между природой и реальностью встала огромная библиотека. Книга и архив, толкующие мир, стали истиной куда большей, чем сам мир. Уткнув нос в книги, люди перестали поднимать к звездам глаза. Изобретение книги удаляет от мира. Библиотека отвращает от космоса.

Забвение космоса предполагает всеислие культуры как антиприроды. Звездное небо исчезает в огнях электрического света городов. Искусственный свет заменил и пламя факела, и отсвет свечи, и огонь в очаге, с которым возникают таинственные тени, создавая полумрак, и все, что в нем прячется, нужно домысливать.

Солнце более не правит, ему на смену пришло электричество. Крестьяне Вергилия уступили место сельским рабочим. Циклическое языческое время рассыпалось, настало то самое время, которое деньги. Умерла земля (она теперь нужна только для химикатов), умерли и крестьяне. Они, принуждаемые религией производства, стали рабочими на фабрике смерти.

Я очнулся от того догматического сна, в который погрузило меня мое христианское образование, когда в 17 лет в Университете Кана встретился на лекциях старого моего преподавателя Люсьена Жерпаньона с Лукрецием. Эта непаханая земля, заброшенная вергилиевская цивилизация, это умершее крестьянство, разрушенная мудрость тысячелетий, эта жизнь — истребленная природа, и я свидетель тому. Лукреций позволяет жить этой исчезнувшей мудростью. В «Трансцендентальном эпикурействе» (глава 5) я предлагаю отыскать в дохристианских мыслях Лукреция материал для постхристианской философии, который сохранил бы в эпикурействе то, что явилось бы силой постмодерна. Римский мыслитель отвергает все, что не способствует личному созиданию и строительству практической мудрости. Я согласен с идеей о том, что необходимо убрать с дороги то, что не ведет к экзистенциальной практике. Главное заключается в том, чтобы действительно жить по-философски.

Основной философский довод эпикурейства состоит в том, чтобы мобилизовать все силы против суеверия — веры в ложные идеи, отчуждающие нас. Перед здравым смыслом, если верно им руководствоваться, отступит вера. Наука, вне сциентизма — религии науки, — позволит осмыслить мир в соответствии с материалистической онтологией. Ничего потустороннего, никакой метафизики, никакой метапсихологии. Есть только этот мир, никакого загробного, только физика — и никакой метафизики, только психология — и никакой метапсихологии.

Наряду с эвристикой страха, идеей грядущей катастрофы, которые сегодня на щите, трансцендентальное становится средством от трансцендентности. Материалистическая онтология, например, способна побудить астрофизику, чтобы освободить небо от христианского барахла и восстановить его в первоначальной силе с помощью современных достижений человеческого ума. Сегодняшняя наука утверждает немалое число эпикурейских предчувствий и ни одну христианскую гипотезу не признала истинной.

За последние 50 лет астрофизика совершила более значительный прогресс, чем за все то время, что человек наблюдает небо. Всякий человек — ничтожная пылинка в мире, полном погасших звезд, множественных вселенных, черных дыр, затягивающих энергию, и белых дыр, туннелей между соприкасающимися вселенными, пылинка в лоскутной вселенной, в отдельно взятой нашей вселенной, где мы из-за оптических иллюзий видим огромным то, что на самом деле маленькое, потому что это лишь отражение, видим то, что будто существует сейчас, а в действительности умерло, видим в нашем временном измерении то, что явилось из другого времени, потому что искажено гравитацией.

Да, всякий человек — ничтожная пылинка во Вселенной, решено, но равным образом всякий человек — уникален, явление совершенно новое, это неповторимое своеобразие в пространстве и во времени, жизнь и сила, мощь и энергия. Всякое существование — это хрупкая, но подлинная случайность, невероятная, но возможная, и она заслуживает, чтобы мы покорились ей, чтобы из чувства крайнего удивления родился опыт возвышенного.

1

Постоянство непобежденного солнца

Иудео-христианство — огромный коллаж, сложенный из большой кучи самых разных языческих представлений, — восточных, мистических, миллениаристских¹, апокалипсических. Он воспроизводит древние исторические предания, которые в свою очередь — повторение истории более древней. Кто скажет, что потоп и иудео-христианский Ной из книги Бытия не восходят напрямую к потопу из «Эпоса о Гильгамеше», который был описан, по меньшей мере, на две тысячи лет раньше, а сама эта эпопея цитируется в последних версиях «Сказания об Атрахисе»? Хляби небесные, возвратившийся голубь, не вернувшийся ворон, опустившийся на гору ковчег, все это проходит сквозь иудео-христианство, но не им произведено и сигнатурой его не является.

¹ Миллениаризм — учение о тысячелетнем царстве, когда сатана будет скован, комплекс религиозных и др. представлений о преобразовании общества, связанных с тысячелетними циклами.

Христианство увидело за смертью жизнь и присвоило себе это открытие. Но в религию Библии, которая словами заслонила от людей окружающий мир, перелито язычество. Задолго до изобретения письменности, задолго до так называемых священных книг люди поддерживали напрямую свои отношения с миром, иначе говоря — с извечной сменой дня и ночи, времен года, чередованием света и тьмы, со звездами в небе и тайнами подземных пещер, с движением светил, с ходом Луны и Солнца в космосе, с периодами солнцестояния и равноденствия, наступлением весны и зим, с постоянным противостоянием: погребенный труп — дети, рождающиеся из материнского чрева один за другим.

Слова Талмуда, Библии, Корана, их пересказ истории, их страницы и комментарии, а потом комментарии к комментариям задушили и жизнь, и все живое. Люди перестали всматриваться в мир и поднимать глаза к звездам, к небу, к светилам, уткнувшись в разную тарабарщину, в которую уверовали, думая, что она раскрыла им окончательную истину о мире. В том социуме, где книгу мало кто умел читать, лишь писцы сообщали, о чем повествует текст: власть раввина, священника, имама стала обожествляться. И тот, и другой, и третий — инстанции временные. Но все они ищут опору в сфере духовного, чтобы облечь политику во власть и объявить полновластие теологии, а значит, и теократии.

Иудео-христианство есть форма историческая, временная, конкретная, имманентно заимствованная на Западе с древним культом Света. На заре человечества так называемые доисторические люди прежде всего почитали световые циклы: охотнику, собирателю, ловцу рыбы, земледельцу легко констатировать годовые изменения. И не нужно знать, что Земля круглая, что она вращается вокруг собственной оси и вокруг неподвижного Солнца, чтобы определить: существуют два солнцестояния и два равноденствия.

Языческим знанием установлено, что в году бывает такое время, когда долгота светового дня максимальна, а ночи — минимальна (летнее солнцестояние), и наоборот, когда продолжительность светлого времени суток минимальна, а ночи — максимальна (зимнее солнцестояние). Оно даже подразумевает, что дважды в год наступает такой момент, когда долгота дня и ночи абсолютно равна (весеннее и осеннее равноденствие). Чтобы измерять

время, никаких инструментов не требуется, да они и не важны, достаточно смотреть на небо, наблюдать за Луной и Солнцем, за длиной теней, чтобы определить свое место в мироздании.

То же знание включает и мысль о том, что свет делает возможной и жизнь, что его отсутствие влечет истощение и гибель. Когда света больше, он поддерживает возвращение жизни, когда он уменьшается, это ведет к смерти. Экзистенциальный путь жизни выходит из космоса, и, вероятно, он породил религиозное переживание, мысль о бессмертии: что происходит в природе со всем, не может не случиться отдельно с каждым. То, что рождается, живет, растет, достигает наивысшего расцвета, умаляется, клонится к упадку, разрушается и умирает, то затем рождается вновь.

Смена весны, лета, осени и зимы послужила метафорой для четырех возрастов жизни; циклическая смена времен года — для вечно-го возвращения, основополагающего архетипа любого религиозного конструирования мира. Ради чего, в то время когда монотеистическая выдумка еще не отделила человека от космоса, создание от своего гипотетического создателя, могли бы люди возомнить, что их судьба отделена от всего остального живого творения? Что для растения, дерева, пчелы, птицы, мамонта, зубра, солнца, луны, то и для человека: живое везде подчиняется одним и тем же законам.

О том, как мыслил доисторический человек, мы не знаем. То, о чем сообщают нам пещеры, наскальная живопись, погребено в комментариях современных теоретиков к этим произведениям. Так, пещера Ласко, например, всякому позволила фантазировать, как угодно, и в том, что представлено как загадка, обнаружить и развить собственные навязчивые идеи: для аббата Брея — предвосхищение истинной веры, католицизма; для Батая — временные знаки извечного стремления людей к смеху, к сакральному, к трансгрессии (*la transgression*), к связи Эроса и Танатоса; для Леруа-Гурана — семантическую правду структурализма; для Жана Клотта — шаманские следы; для археоастронома Шанталь Жег-Волькивиц — небесную обсерваторию, позволяющую составить карту созвездий.

Наскальное искусство — не письмена, которые недвусмысленно передавали бы именно то, что нужно было донести, но, несмотря на это, оно учит одной простой вещи: все, что есть, одухотворяет жизненная сила, она же вынуждает людей подчиняться

себе, иначе как объяснить, что в самых разных и отдаленных, противоположных уголках земли, в одно и то же время, в один и тот же исторический период люди, не знающие друг о друге, создают похожее искусство, один и тот же стиль, ибо разница представляется незначительной и ничтожной, настолько главенствует сходство.

Более-менее опытный глаз различит ашельскую, мустьерскую, шатльперонскую, ориньякскую, граветтскую, протомагдаленскую, солютрейскую, сальпетрскую, бадегульскую, магдаленскую, эпипалеотическую, мезолитическую культуры, но ведь речь идет о доисторическом искусстве, которое развивалось на территории Европы в течение 25 тысяч с лишним лет, между 30 000 и 10 000 годами до нашей эры. Несмотря на разнообразие, различия, несхожесть, один и тот же онтологический стиль указывает на одинаковый повсюду мир, когда люди не могли общаться друг с другом, и расстояния, если говорить о Европе, между Францией, Скандинавией, Великобританией, Бельгией, Германией, Украиной, Россией, Южной Италией, Сицилией, западом Ирландии и Португалией невозможно было преодолеть.

30 тысяч лет отдельно друг от друга люди хранили единый стиль, один мир, одну изобразительную традицию. Никаких следов растений — травы, цветов, деревьев; никаких насекомых (в пещере Шовэ есть непонятный рисунок, но принято считать, что это бабочка); никаких природных объектов — ни водного потока, ни скалы, ни холма; никаких небесных тел — звезд, Солнца, Луны, комет; ничего созданного своими руками — шалашей, деревень, стоянок, одежды; практически отсутствуют изображения человека, есть какие-то создания, похожие и на человека, и на животное. Животных, наоборот, — огромное изобилие: быки, лошади, зубры, бизоны, львы, носороги, коровы, олени, северные олени, горные козлы, мамонты, но никаких рептилий, никаких земноводных, никаких рыб.

Если попробовать разобраться, какой была доисторическая тотемическая религия, то станет понятно, почему выбраны именно эти животные, а не другие. Потому что у них позитивная символика — сила, пыл, мощь, изящество, скорость, энергия, твердость, способность сопротивляться. Можно ли наделить лягушку, жабу, ящерицу, змею и рыбу, с которыми бок о бок жили доисторические люди, почетными, престижными, благородными свойствами? Пульс жизни, витальность и позитивность

изображенных зверей не оставляют никакого сомнения. Это — хвала, которую живые возносят жизни, она продолжается своим чередом, понуждая людей в одно и то же время и в очень далеких друг от друга и разных местах рисовать одно и то же, в одинаковой манере и, кочуя, повсюду передавать это искусство. Жизненная сила — первое из всех уважаемых качеств, первое из чтимых божеств, если угодно.

Без солнца, которое поддерживает растения, жизни нет. Ими питаются животные, животными — человек. Свет — бог богов, первейшая сила, без нее нет сил производных. Это принцип, к которому приобщаются растения. Ботаник Френсис Халле указывает, что в 1960 году ученые открыли фотохромы¹. Речь идет о растительном пигменте синего цвета, который поглощает красные и инфракрасные лучи, благодаря чему все растения, от самых простейших и примитивных до самых развитых и сложных, способны поддерживать в мире осмысленные отношения. Отсюда этот тропизм, устремленность к свету, от него зависит, поникнут ли растения, когда свет исчезнет, развитие семян, появление ростков, образование цветов.

Этот пигмент сообщает растениям информацию об удлинении или уменьшении долготы дня. Свет — действенный принцип, он заставляет реагировать на сведения, полученные от окружающей среды. Вот поступила информация о том, что день становится меньше, растение запускает механизмы, которые позволят защитить почки, даже если температура остается летняя. Сок перестает поступать в оконечности листьев, опускаясь к корням, и листья желтеют, теряют пластичность, влагу, скукоживаются, сохнут и опадают. И даже летом, как только химический сигнал дает знать, что ночи увеличиваются, хотя еще тепло, растение готовится к зиме: если животные могут мигрировать, направляясь в теплые страны, то растение замедляет рост, вырабатывает вещества, при помощи которых образуются чешуйчатые почки, защищающие самые важные клетки. Плоды и сухие листья опадают. Перестает циркулировать сок.

Другое вещество, оксин, вырабатывается, когда стебель тянется к источнику света, оно стимулирует рост корней, подавляет развитие низких ветвей у молодых деревьев. Благодаря другим

¹ Фотохромизм — явление обратимого изменения окраски вещества под действием видимого света, ультрафиолета. Фотохром — материал, обладающий способностью к фотохромизму.

веществам (гиббереллины, цитокинины, абсцизовая кислота, этилен) становятся возможны иные чудеса: они стимулируют развитие, удлиняют стебли, замедляют рост, ускоряют образование новых клеток, созревание плодов и т. д. Каков язык всех этих веществ? Количество и качество света.

Растения общаются, даже проявляют подлинную сообразительность. Различают цвета света, реагируют при помощи нервных импульсов, сопоставимых с подобными импульсами животных, на силу тяжести, на раздражение от механического контакта. Они даже проявляют способность сосчитать, по меньшей мере, до двух. У них есть память. Есть чувство вкуса. Они могут производить шумы, определять расстояния, различать, кто желает им добра, кто зла, обмениваться, кто в чем нуждается. Они реагируют на приливы и лунные месяцы.

Растения даже предвидят будущее и способны защищаться от опасности. Южноафриканские антилопы куду питаются листвой одной из разновидностей акации — *acacia caffra*, дерева, растущего в саванне. Животное объедает листья, потом уходит к другому, снова удаляется, и так каждый раз. Зачем менять дерево? А затем, что они защищаются, запуская процесс метаболизма, в результате чего в листе скапливаются дубильные вещества, делаая ее вязжущей на вкус, и антилопа бросает ощипывание.

Прежде чем антилопа приблизится к дереву, некоторые виды акаций насыщают листву дубильными веществами. Почему? Потому что в их сторону дует ветер и доставляет им сведения от уже атакованных антилопами деревьев: они испускают особый газ, этилен, а он вызывает выработку дубильных веществ, спасающих от гибели. Как только куду прошли, химический процесс у акаций нормализуется, защищавший их токсин исчезает. Вот доказательство, что растения располагают способностью понимания, как им выжить, и способностью сообщаться, чтобы этот план воплотить. Как и люди, они наделены тем, что Аристотель называл искусством упорствовать в своем бытии, а Спиноза — мощью существования.

Жизнь растений напрямую зависит от света, его количество — от времени года, качество — от периодов равноденствия и солнцестояния. Она подчинена способности понимания, которая запускает механизмы, обеспечивающие жизнь, выживание, существование, когда грозит опасность. В корзине, где я забыл лук-порей, нарезанный длинными листьями, из сердцевинки пробился росток и стал

искать, где побольше света, чтобы жить, жить лучше, жить больше. Что касается самой простейшей жизни, то касается и самой продвинутой, и против этого нечего возразить. В овощах происходит то же, что и в человеческом нутре, работает по тем же принципам.

Свет околдовывал людей, и они, едва возникла еще неприрученная мысль¹, уже знали, что Солнце — светило, дарующее жизнь, силу, мощь, энергию, витальность. Исходя из этих соображений, они возводили свои строения так, чтобы захватывать свет, понимавшийся как первопричина всего: доисторические пещеры ориентированы на летнее солнцестояние, как, например, Ласко, которая позволяет солнечным лучам проникнуть вовнутрь и около часа освещать зал Быков. Люди верхнего палеолита (более 30 тысяч лет) изобрели, возможно, древнейший лунный календарь — на костяной лопатке в Дордони. Смысл его, возможно, заключался в том, чтобы заранее предугадывать смену времен года, определить периоды миграции диких птиц.

Палеоастроном Шанталь Жег-Волькивиц утверждает, что почти все места во Франции, где имеются рисунки эпохи палеолита, ориентированы на точку горизонта, соответствующую значимому моменту циклов: восход или заход солнца в период равноденствий или солнцестояний. Выбор пещер осуществлялся, исходя из того же языческого знания. Доисторические люди умели читать небо, они определили движение планет, знали о вечном возвращении времен года, предсказывали будущее, опираясь на то, чему научило их прошлое, и с этим знанием соотносили свое будущее. Разрисованная пещера, вероятно, первый монумент обретенного солнечного знания.

Эти выводы стали очевидны благодаря женщине, не принадлежащей к университетской когорте, — Шанталь Жег-Волькивиц: на основании проведенных замеров она констатировала, что выступающие вперед точки наскальных рисунков в Ласко совпадают со звездами высокой магнитуды доисторического времени. На различимые глазом сколы на стенах пещеры накладывалась траектория луны. Устоявшуюся науку это все коробит, она придирается, сопротивляется, утверждает, что якобы подоб-

¹ Аллюзия к одной из работ Клода Леви-Стросса — «Неприрученная мысль» (*Pensée sauvage*).

ное исследование построено на заведомо заданных расчетах: это не для специального журнала, а для массовых изданий, известные профессора не принимают ее всерьез и отказываются ручаться. Ничего не помешало. Жан Малори¹, великий шаман, который больше доверял свободному, «либертарному» духу предчувствия, чем приблизительным расчетам, но соответствующим тому, что произвели чинуши Национального Центра научных исследований, признал эту идею.

Стоунхендж (конец III тысячелетия до н. э.) точно так же объясняется своими ориентирами в отношении Солнца. Знаменитая гряда камней выстраивалась в направлении его восхода над горизонтом в момент зимнего солнцестояния. То же касается некоторых других мегалитов в Британии, Шотландии или Германии. Этакое расположение камней в соответствии с солнцем было закономерным в течение трех тысяч лет. Постичь движения светила — значит знать, когда произойдет смена времен года. Знать об этой смене — значит обеспечить жизнь и выживание всей группе людей. Охотники и собиратели смогут предвидеть, когда и где пройдут стада животных, когда появятся фрукты, ягоды, а земледельцы — когда нужно сажать и сеять.

Все в отношениях с природой было сакральным. Ее прославляли особыми шествиями. Круговое положение камней в Стоунхендже, судя по сохранившимся следам, имело двойника — еще один круг из дерева. Они были разделены рекой. Круг из камней соответствовал жизни, он был сложен из твердого, прочного материала, который простоял века и вписался в вечность. Деревянный круг, наоборот, сделали из материала, поддающегося гниению и разрушению. Первый — круг жизни — указывал на восход в солнцестояние, и, значит, на возвращение жизни; второй — круг смерти — на заход в солнцестояние. Обрядовая процессия шла по пути от жизни к смерти, затем люди устраивали языческие празднества, где были, кроме еды, хмельные напитки, совершались совокупления, и все это славилло силу жизни — свет.

Представления америндов² о мире также вписываются в анимизм, тотемизм, пантеизм. В тот период человеческой истории, когда не было ни единого бога, ни индивидуальности, природа творя-

¹ Французский географ и этнограф.

² Условное название индейцев Америки.

щая и природа сотворенная — это два из многочисленных способов объяснить природу единую. Человек неотделим от животного мира, от камней, рек, звезд, солнца, луны, он — не иной субъект, отстраненный, единственный и одинокий, но — фрагмент, связанный и переплетенный с Великим Всем.

Придя более 36 тысяч лет назад из Сибири, америнды придерживаются шаманизма, живут в гармонии с природой, а, следовательно, с самими собой, ибо им не пришла еще в голову мысль расценивать себя чужаками в том мире, где они находятся. Их деревни ориентированы на основные точки: двери открываются на восток так, чтобы солнечные лучи во время восхода проникали в жилище, принося с собой свет, а значит, жизнь, силу, здоровье, мощь. Их представление о времени нелинейно, как у христиан, но циклично, оно следует природным циклам.

Надписи америндов, сделанные на земле с помощью камней, очень похожи на те, что, вероятно, нанесли вне своих пещер доисторические люди и кельты, выложив мегалитические линии. Обитатели Америки строили целебные колеса в форме круга из камней, не соприкасавшихся друг с другом и разделенных на четыре равных части. Каждой из них соответствовали свои цвета, основные точки, времена, количественные характеристики и свойства: север ассоциировался с белым цветом, с духом, с зимой; восток — с желтым, с разумом, с весной; юг — с красным, с телом, с летом; запад — с черным, с сердцем, с осенью. Четыре цвета обозначали четыре человеческих расы.

Это колесо диаметром 27 метров имело внутри 28 лучей, то есть столько же, сколько дней в одном лунном месяце. Этот жизненный цикл позволяет датировать день летнего солнцестояния. Племя анасази, достигшее наивысшего расцвета к 1000 году и таинственно исчезнувшее в XVI веке, выстроило между штатами Колорадо и Ютой солнечный дворец (Hovenweep Castle), его отверстия ориентированы так, чтобы свет во время солнцестояния и равноденствия входил в постройку, предназначенную и рассчитанную для совершения обрядов. Подобное архитектурное сооружение в Нью-Мексико (каньон Чако) свидетельствует об искусстве опралять космический свет в камень.

В этом жизненном круге собрана вся философия народа, ее выражают три веревки и перо. Белая веревка отходит от центра и идет к вершине круга, на ней семь ракушек, каждая из которых означает сущность, силу, мощь, добродетель и даже удвоенную доб-

родетель — вечность, а также мудрость и знание, любовь и доверие, истину и честность, смирение и терпение, храбрость и отвагу, уважение. Это уроки жизни семи предков. Синяя веревка исходит из центра и прообразует небо. Зеленая — природу, природу-мать. В центре же находится перо — символ дыхания Создателя, гармонии между человеком и природой, личностью и космосом.

За тысячи лет до «Никомаховой этики» Аристотеля эта америндская мудрость показала, что языческая святость не нуждается в трансцендентном, в едином боге — завистливом, карающем, агрессивном, мстительном, предлагая этику, основанную на отношениях с силами космоса и жизни, но не вопреки им. Эта философия природы и космоса может быть выражена как анахронизм, на спинозистский или ницшеанский лад, то есть как полная противоположность иудео-христианскому видению мира.

Вождь племени сиу Хехака Сапа (Черный Вапиги¹) рассказал, как проводился танец солнца. Необходимо было украсить какое-либо помещение шафраном и собрать в нем все нужные для ритуала предметы: курительную трубку, связку табака, кору красной ивы, ароматические травы, костяной нож, кремниевый топор, костный мозг, череп бизона, мешок из невыделанной кожи, дубленую шкуру молодого бизона, шкуру кролика, перья орла, красную землю, синий краситель, необработанную шкуру, перья из орлиного хвоста, выточенные из костей пятнистого орла свистки. Для ритуала также был необходим барабан из бизоньей кожи, вывернутой мехом наружу. Округлый вид инструмента символизирует Вселенную, его ритм — сердце, что бьется в ее центре, мелодия — голос Великого Духа, который связан с миром. Поют четверо мужчин и одна женщина.

Среди символов племени луна обозначает то, что сотворено и подчиняется энтропии мира. Ночь — это неведение, луна и звезды — свет в сумерках, солнце — источник света, первооснова всего живого, а значит, оно олицетворяет Великий Дух. Бизон почитается как образец прозорливости, как животное, у которого люди берут шкуру, чтобы не замерзнуть, которое служит им пищей. Тем, что человек живет, он обязан ему и все племя тоже. В этом смысле он достоин уважения и религиозного почитания.

¹ На русский имя вождя переводится также как Черный Олень или Черный Лось. Вапиги — подвид благородного оленя, иначе — канадский олень. Обитает в Северной Америке.